

НАТАЛИЯ АЙГИ

БОГОМАЗ

Наталия Айги

Богомаз

«Алисторус»

2007

УДК 82-94
ББК 85.1

Айги Н.

Богомаз / Н. Айги — «Алисторус», 2007

ISBN 978-5-9265-0412-2

Замечательный художник из волжского Белого Городка Владимир Маслов – не от мира сего. Его картины чисты, пронизаны светом и тенью, ветрены и смятенны. Искренность, бескорыстие, обнаженность чувств, доброта так полно присущие ему в творчестве и жизни, всегда получали в традициях русской нравственности высочайшую оценку. Настоящая книга представляет собой беллетризованную биографию художника, написанную от лица главного героя его женой Наталией Айги.

УДК 82-94

ББК 85.1

ISBN 978-5-9265-0412-2

© Айги Н., 2007
© Алисторус, 2007

Содержание

Рекою волгой возвращенный	6
Детство	9
Конец ознакомительного фрагмента.	16

Наталия Айги Богомаз

© Айги Н., 2007

© ООО «Алгоритм-Книга», 2007

* * *

Рекою волгой возвращенный

К знакомству с творчеством живописца Владимира Маслова я шел очень и очень долго. Земляк его по Белому Городку московский художник Валерий Лындин, для благозвучности перекрестивший себя в Лавра и среди столичного андеграунда известный как балагур и слушитель Бахуса Лаврушка, много и восторженно рассказывал мне о волжском самородке, одержимом любовью к живописи. «Это тамошний Зверев», – говаривал мне частенько Лавр, не забывая подчеркнуть и родство их душ, объединенное звоном стаканов и любовью к широкому, как Волга, хмельному раздолью. Однажды чуть было не оказались мы в Белом Городке, да, видно, не судьба еще была. Открывал я одну из своих реставрационных выставок в славном городе Угличе и взял с собой на вернисаж известного, ныне уже покойного тбилисского художника Коку Игнатова да приятеля своего Лаврушку. Были мы тогда молодыми, готовыми к повседневному любованию жизнью и бражничеству. После открытия выставки икон музейные девочки, вечная им хвала и честь, спроворили скромный, но от всей души идущий, как бы теперь сказали, фуршет. В запасниках музейных накрыли хранительницы прекрасные столы, уставленные редкими серебряными сосудами XVI – XVII веков, тонким фарфором императорских и частных заводов, и скудное угощение, состоявшее в основном из только что приготовленного на старой угличской сыроварне рокфора, томатного сока да свежего хлеба, превратилось в поистине царскую трапезу. Местную водку, а тогда она всюду, в отличие от нынешнего моря самопальной отравы, была высококачественной, хозяйки налили в старинную братину, вмещающую никак не меньше литра. Но не суждено той братине было пойти по застольному кругу. Лаврушка, первым приложившийся к ритуальному сосуду, трактует его как индивидуальную чарку и осушил жадным глотком всю братину. Последствия сей молодецкой удали не заставили себя долго ждать. Сказав ярославским дивным художникам-реставраторам все, что он о них несправедливо думает, побежал Лаврушка с крутого обрыва купаться в Волге, забыв, что на дворе февраль. С трудом удержали мы его от моржевания и, не насладившись общением милых музейщиц и не обсудив насущных проблем с ярославскими умельцами, отправились не солоно хлебавши в уютные покои ведомственной гостиницы Угличского часового завода. Лаврушка сначала бежал перед нами, услаждая разозленных компаньонов так любимым им набором частушек, вытребенок и заготовленных на сей случай стихотворений. Вдруг он на наших глазах словно сквозь землю провалился, и в течение получаса не могли мы его отыскать среди сказочных угличских домиков. Придя в гостиницу долго, не ложились спать, надеясь, что балагур наш вскоре объявится. Прошел час, другой, третий. Позвонил я, тревожась, в местную милицию, и сонный голос дежурного посоветовал мне поискать друга в вытрезвителе. «Лындин, представившийся Юрием Гагариным, жив, невредим, рассказывает нам сотый анекдот, пьет чай и готовится отойти ко сну. Приходите за своим драгоценным товаром к утру». Имя первого покорителя космоса не все было упомянуто. Друг мой старинный Сергей Вронский, один из лучших русских кинооператоров, снимал фильм «Укрошение огня» про великого ученого Сергея Королева. Несколько месяцев искали они вместе с режиссером исполнителя небольшой, но знаковой для картины роли Первого Космонавта. Кого только не пробовали! И Олега Стриженова, и Олега Видова, и многих других известных актеров. Однажды, зайдя на рюмку водки в мой бункер – творческую мастерскую в одном из полуподвалов в переулке между тогдашними Кропоткинской и Метростроевской улицами, посетовал мне Вронский на незадачу с поисками киношного Гагарина. «Поспорим на ящик водки, что через час герой космоса предстанет перед твоими глазами». Сережа согласился, пожалев меня за предстоящую трату большой суммы денег, ибо уверен был в моем проигрыше. Когда в никогда не закрывающихся дверях бункера появился, озарив всех своей обаятельной улыбкой, Лаврушка, по глазу моего киношного друга понял я, что утверждается обитатель Арбата на

роль Гагарина без каких либо проб. Потом были съемки, где руководитель отряда космонавтов и члены съемочной группы, влюбившиеся в Лаврушку, на себе почувствовали, что такое «пить или не пить». К другу моему после выхода на экран пришла всенародная слава. Сколько раз, представляясь братом погибшего Юрия Гагарина, доставал Лавр водку до разрешительных одиннадцати часов утра, помогал мне улететь в кабине летчиков из различных городов, когда даже всеильное начальство не могло предоставить требующихся билетов. Вот и в угличском вытрезвителе, куда мы с Кокой Игнатовым поутру пришли, бедолага подписывал открытку со своим изображением в костюме космонавта, а служители этой неотъемлемой части нашего быта, разинув рты, восхищенно глядели на разболтавшегося актера-любителя. Что, впрочем, не помешало им выставить Лаврушке штраф в двадцать пять рублей, сказав, что получил он ночью чай в неограниченном количестве да пару теплых одеял, дабы не забил его хмельной колотун. Выйдя на улицу, предложил нам Лавр двинуться из Углича в Белый Городок, где ждет его друг сердечный Володька Маслов – «Ван Гог и Зверев» в одном лице, по лаврушкиным словам. Жалею теперь, что не присоединились мы к основательно протрезвленному нашему сотоварищу и не поехали на встречу с талантливым волжанином.

Вернувшись в Москву, Лавр рассказал, как ловко они с Масловым организовали в местном кинотеатре встречу зрителей с только что вышедшей на кинонебосклон яркой звездой, указав на афише, что благодарные поклонники могут приносить в дар снизошедшему до них земляку иконы, картины и прочие антикварные предметы. Лавр никогда не приезжал из Белого Городка с пустыми руками. Прирожденный краевед Володя Маслов обладал феноменальным чутьем на художественные реликвии прошлого. Вот и на сей раз Лавр «прибомбил» с Володиной помощью альбом гравюр Андриана ван Остаде. А через пару месяцев познакомился я в Москве с самим белгородчанином и имел возможность воочию наблюдать за этим глубоким, остроумным и слегка хитроватым человеком. Он все понимал, а зоркий глаз его глядел сквозь десятки метров земной глубины, подмечая самые тонкие нюансы в поведении подгулявших собутыльников. Я сразу понял, что Маслов из тех гуляк, о которых любовно свидетельствует русская пословица «пьян да умен – два угодя в нем».

От своих друзей и знакомых, к чьему мнению я прислушивался, получил я подтверждение правильности моих восторженных слов в адрес волжского незаурядного живописца. Хвалил Володины работы Георгий Костаки, а у него был глаз наметанный, проверенный на великих богатствах из его личного собрания. С добром относились к масловским проявлениям Зверев, Краснопевцев, Комов, Висти и многие другие московские художники самых различных направлений и привязанностей. Абсолютно лишенный страсти коллекционирования, жалею я сегодня, что отказывался от щедрых подарков, предлагаемых мне и самим Масловым и земляком его Лаврушкой. Только совсем недавно повис у меня в мастерской первоклассный деревенский пейзаж, сотворенный Масловым, и портрет мой, виртуозно исполненный одержимым любовью к живописи волгарем.

Быстрее всего оценили непреходящую ценность и значение масловского творчества доморощенные московские маршаны. Научившиеся с нашей помощью отличать Сурикова от Рокотова или Малевича от Пластова, алчно ринулись они в мутный омут псевдоколлекционирования. Играя на человеческих слабостях одаренных мастеров, а особенно часто используя их слабину по отношению к зеленому змию, умели они за «три рваных» уволочь в свои наспех оборудованные домашние запасники шедевры кисти Зверева и ему подобных горемык, опущенных водкой до самых крайних граней. И Маслов кричал мне восторженно в телефонную трубку по поводу улучшившегося рынка сбыта своей бесценной продукции, когда саранча московская машинами тащила в столицу его холсты, заменив помятые тройки прозрачными стеклянными литровыми сосудах с полуотравленным спиртом «Роял». Очень близок был Маслов к трагическому концу, уготованному судьбой Анатолию Звереву. «Роял», он не только дюжего молодца, но и самого мощного коня в могилу сведет. Но Господь, который не допу-

стит человеку испытаний тяжелее тех, что создание его способно вынести, направил Маслова на светлый путь спасения и возрождения. Ангелом, указующим Володе этот вожденный многими путь, оказалась замечательная русская женщина Наташа Алешина, ставшая женой художника. Быстро и проворно обиходила она совсем прогнивший быт живописца, поставила «железный занавес» перед ловкими спекулянтами и любителями половить рыбку в мутной водице. И вот уже Маслов, ухоженный, просветленный и по-прежнему восторженный показывает свои последние работы на выставках, одержимый жаждой признания, которое, по его словам, нужно ему словно воздух или солнечный свет. Среди болезни своей порадовался я несказанно, получив каталог небольшой масловской выставки, которую организовал мой старинный друг Володя Васильев в парадных залах руководимого им тогда Большого театра. Сам плодовитый и самобытный художник, Васильев сумел рассмотреть в холстах Маслова подлинную их ценность и глубинную сущность могучего дара, отпущенного волгарю Богом.

И вот сегодня я бесконечно счастлив, представляя вместе с Наташей Масловой, Володи Васильевым и сотрудниками «Московского дома национальностей» лучшие работы Владимира Маслова современным зрителям, уставшим от затхлой, безвкусной и много раз пережеванной пищи, которой кормят их галереи Гельмана, разнузданные Кулики, уставшие от незаслуженной славы Кабаковы и прочие псевдохудожники, лишенные и сотов части подлинного дара, щедро предоставленного Владимиру Маслову самой природой.

*Савва Ямицков,
заслуженный деятель искусств России*

Детство

С детства считали меня чудачком. А за что, почему – не различаю. Волновала до слез красота, что с собой можно поделаться! Чуть что, слезы катились! Думается, как я, все люди такие – любят березы, Есенина, деревенскую жизнь... Смеялись многие надо мной, да что там многие, поголовно смеялись. Но я не обижаюсь. Даже отец и дядя Коля говорили: «Сивка со странностями!» Они меня всегда ласково звали. Я, почестно, крещен Вовкой, Владимиром, но они звали Сивкой. Мне нравилось, я думал «сивка-бурка, вещая каурка» из сказки, а оказалось, это птичка семейства ржанковых, мелкий кулик, доверчивый такой, что на него даже охотиться неинтересно.

Детство у меня было хорошее. В глазах как рай – все цветное, камыши, синяя Волга, белая церковь у Белеутова, где я искал свою мать. На телеге отец возил меня в поля: пруд, рига, цыгане, насосы ручные... Ласковые крестьянки говорили: «Мама из Москвы яблок привезет». А ведь обманывали меня, ее уж на свете не существовало. Одно воспоминание осталось, как от прежних людей.

В сущности, мы жили постоянно в лесу. В дебрях глухих, можно сказать. С трех сторон лесами окружены, впереди река. Как такие места отец находил? Может быть, он людей не хотел видеть? Я и сам уединение полюбил. До слез природа волновала. В домике простом тусклый свет освещал все, отец мыл нас с братом в корыте, а за стеной просилась в дом и плакала вьюга.

Отец был учитель. Наши почти все учителя, приметные люди: и отец, и дядя Коля, и дядя Толя. Кудрявые, черноволосые, прямо иконописные лица у всех. А как лепили великолепно, на гитарах играли, декламировали! Вальсировали даже! Все музы, думается, у них гостили. Я сам всегда страстно стихи любил. Дядя Женья был инженером, а тетя Лида – врачом, а я родился, по-видимому, художником, но долго не догадывался никто.

Душа у меня рано запела. Только родился, только протер глаза, безумно полюбил рисовать. Как томление какое-то, сами знаете перед чем, или, как я слышал где-то, «не насытитесь око зрением», страстное такое желание рисовать было. Рисовал везде: в лодке, на сеновале, в лесу, на чердаке до ночи с лампой просиживал. Дедушка не обижался, как я его рисовал, с длинною бородой в железнодорожной фуражке. Рисовал в воздухе пальцами, веткой на песке... Волжского песка на берегу были горы, чистый и золотой, как в пустыне египетской.

Тетя Лида просила меня на воспитание взять, чтоб на художника выучить, но отец не отдал. Я такой хорошенький был, жизнерадостный. Слышал не раз, как родные говорили: «Посмотри, Лидуся, какой Вовка хорошенький!» В детстве я, почестно, недурной наружности был, тонкий, черненький, глаза большие, но неуч и почему-то краснел, как мак, лет до тридцати. Мне застенчивость страшно вредила. Первая подруга моя только пьяным сумела в постель приземлить. Вот стрижи, стыдно и говорить, спариваются на лету, а мы не стрижи, к сожалению. Много я страдал оттого, что не стрижу, что боялся женщин непьяным. Столько страхов, страданий, легче бы, воздушней ко всему относиться. Не я один... Видно, из-за влечения к женщинам все пить начинают.

Мой отец родился охотником страстным. Ружья постоянно заряжены на картечь, англо-русских гончих держал, легавых мышинового цвета, сучек, правда, больше любил, от них ведь приплод. А какие познания большие о травах имел, о голосах птиц! Фиалки по запаху ночью мог находить! Точно не знаю, но родные что-то скрывали. Замашки у них какие-то барские, беспечность во всем, яблоневые сады разводили... И какое нажили добро? По две лавки, пять книг по ботанике, ружья и на цепях три собаки. Моли – и то есть нечего. У дяди Коли, кажется, еще гербарий и граммофон были. Дядя Коля и дядя Толя тоже буйные, высокохудожественные натуры, охотники! Да охота вообще древнейший вид деятельности! Так стреляли великолепно, думается, «Записки охотника» запросто могли написать. Все эти: «а между тем заря разгора-

ется, вот уже золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубятся пары...» они тысячу раз видали. И я видел.

Дядя Коля особенно ярок. Изумительный человек! Нервный, сухой, вспыльчивый, болезненно честный меломан с усиками, он до восьмидесяти лет в проруби купался, пока врачи не запретили, и не ел ничего! Всегда перед ним две-три борзые, сам на велосипеде, как птица Сирин, гордый сидел, не сидел, а точнее мчался в галифе и белой фуражке. Он собак своих прям очеловечивал. Запросто за них застрелить мог. Собаки у него худые, как балерины, изысканные, дядя их огурцами кормил, а водитель какой-то одрами обозвал, кинул в них что-то. Дядя одров ему не простил. Не поленился, восемь километров на велосипеде гнался за ним, и погоня его не остудила. Прямо с ружьем «кригхофф» в избу ворвался, с печки стащил мужика, еле отняли его у дяди. А потом десять лет судился. Всем судьям надоел. С ним и не связывался никто.

А одно время я у дедушки письма находил в красивом сундучке. Он в Хотьково начальником железнодорожной станции был. Лишнего в доме, конечно, ничего, аскетизм. Только сплошь увешано фотографиями: люди черные, долгоносые, мальчики в курточках, барышни в кружевах. Бабушкины акварели висели. Письма «Милостивый государь», а может, «Ваше превосходительство» начинались, точно не помню, но почерк помню – каллиграфический!

Представляете, **государь!** Видно род непростой или не совсем простой! Но родные ничего не говорят, скрывают. Или с Кавказа были корни, или еще дальше, из Палестины. Да, я никогда ничего не вру!

Как сейчас вижу: заря разгорается, вот уже золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубятся пары, отец молодой и похожий на Блока, босиком идет на охоту, и следы на росе остаются. За ним я с маленьким ружьишком. Лет с шести у меня ружья были. Мы за утками идем на болото, где черти живут. Отец декламирует:

Бекас – алмаз!
Он не про Вас,
Не по зубам
Орешек Вам!

Идет себе, литой, как гирька, кудрявый и красотой своей не гордится ни капли. Не боится волков, ничего не боится. Я его спрашивал: «Пап, ты дом можешь поднять?» Он отвечал: «Могу!» Я этому верил. Наши все такие!

Дядя Женя с тетей Лидой тоже красавцы, умные, правдивые, атеисты, «ворошиловские стрелки». Хотя ошибиться могу в атеизме. Дядя Толя, кажется, каждое утро молился: «Господи! Помилуй брата Колю, брата Женю, брата Володю и сестричку Лидочку!» Это один дядя Толя развел мистицизм. Бабушка, я слышал, еще до революции молиться ему за всех поручила. А остальные никто не молились, ни дядя Коля, ни дядя Женя, потому что у всех высшее образование. Не шибко грамотный в семье только я. Я хоть убейте, что такое электричество, не понимаю!

Но вошло мне в душу поэтическое видение мира. Как красиво было кругом! На болотах кулички, клюква. Березки и осинки чахлыми листиками трепещут, как на Октябрьскую флажки. Болотные курочки, маленькие такие птички, любой стебелек их выдерживал, прямо по воде ходили. Мы среди сказки жили. Чистые были, раз по пятнадцать в день купались в пруду среди карасей. А когда в меня пиявка впилась, я к отцу в школу голый вбежал прямо с пиявкой. А-а-а-а! Шесть пиявок могут умертвить лошадь, двадцать семь – быка. Это из Брема отец вычитал. Хоть и боялся я крови, но пиявки – мура, черные червячки без органов чувств. Самое страшное в мире – бараны! Вон как адски бараний рог Бог скрутил, хоть я в него не верю, конечно. Встанут на пыльной дороге и смотрят в упор желтыми гипнотическими гла-

зами. В шерсть их красные тряпки кто-то вплетал. От красного цвета, как от крови, начинает тошнить. Я в природе не вижу красного...

А потом замешалась война. Наши все уехали Родину защищать, даже дедушка с тетей Лидой. А меня на прощанье отец поцеловал. Чмокнул шестилетнего Сивку нежно. А малец, то есть я, не выдержал, с горя в летаргический ухнул сон, лучше не вспоминать. Девять дней я спал, путешествовал на том свете. Райских снов только не видел, потому все смешалось в памяти: дедушка, детский дом, девушки, красивые, как цветы...

Мне знакомый толстовец один говорил: «Ты войны не касайся, Володя! Лев Толстой гениально войну осветил». Я и не собирался касаться. Я войну не люблю. Я люблю оперетту: «Летучая мышь», «Сильву», «Трембиту». Художника Веласкеса, кстати, тоже Сильвой звали. Шестьдесят один год прожил. Мало как живут люди. Видно не мед жизнь была, а может, чума напала, инквизиция или ел с оловянной посуды... Я об оперетте... Какая прекрасная музыка! Даже слушать ее невозможно! Я весь в мурашках, как пьяный. Поют сильно, аплодируют страстно! Перья страуса, цветы и везде женщины, созданные для любви!

А в войну мы с братом у добрых людей на станции Углич жили. Нам хоть бы хны! А потом в детском доме, как у Христа за пазухой. Сравнительный гуманизм раньше был. Правда, у Христа за пазухой до поры до времени хорошо, а как ризы начнут делить – запоешь!

По заброшенной узкоколейке мы тогда на станцию часто ходили. Вдруг отец, дядя Коля или дядя Толя приедут. Кто-то еще. Да и вообще интересно, куда колея, почему паровоз брошен? Лезем, лезем на паровоз, ни души человеческой, ничегошеньки. Телеграфная проволока дрожит, а на столбах вороны, как вестники смерти в черном крепе сидят, похоронами в мире животных занимаются. Сердце екает, такой еловый лес вокруг мрачный. Я еловый лес не люблю. В нем птиц не слышать, а трава под иголками чахнет. Ели только на Новый год в огнях хороши.

Будто тут дорога в старину проходила, по которой мощи царевича Дмитрия несли. А теперь никто не ездит, не ходит, потому что кровь на дорогу капала до Москвы! Вот какие апокрифы народ сохраняет, чтобы детишек пугать. А они, наивные, верят! Мне до сих пор, почестно, Дмитрий мерещится в еловых лесах.

Я тогда сильнее своего дедушки железную дорогу полюбил. Рвы, пакгаузы, кирпичные водокачки, запах креозота прекрасный. Десятки составов под парами на железнодорожной ветке Калязин – Углич. Всех солдат по домам можно развезти. За что немцы на нас напали? За что ранили наших солдат? Они добрые, все тушенку едят, а нам банки облизывать давали. Я же говорю, вокруг гуманизм был! А что в поездах давка, так Анна Каренина и то ехала вшестером, в тесноте – не в обиде, как дедушка говорил. В войну и подавно люди на крышах ездили. Сидели, как на спине динозавра. Вагоны низкие, трубы высоченные, на каждом вагоне множество труб. Мы, внуки железнодорожника, и то не знали, откуда, для чего столько труб? Настоящий восточный базар на крыше! А вернее мышиный: платки, зипуны, котомки, на ногах ботинки – все серое. Благородного такого серого цвета, как в деревнях все старинные избы. Этот цвет сильно волнует, настроение создает. Вот бывает прусская синяя, красная английская, а эта русская серая натуральная, пусть будет. С ней одной в палисадниках георгины и резные наличники в гармонии сочетаются. И кто ехал на крыше – удивительно, все песни пели. Настоящие песни, народные, душераздирающие! Много все же души в народе. Вот русские, поголовно художественный народ. В каждом искусстве, думается, больших высот могли бы достигнуть!

Мы на станцию каждый день с братом ходили, каждый день угличское предание о царевиче вспоминали. Видели множество горя, злосчастия, а отца не видали. Да и откуда ему там быть, из когтей смерти в Иваново из последних сил вырывался. Бредил: «Сивке ружье куплю, Вене – гармонь, у него слух отличный...» Гончих по именам вспоминал.

Отдали меня зачем-то в школу, хоть жажды знаний не было у меня, диктанты писал прямо насильно!

«А между тем заря разгорается: вот уже золотые полосы потянулись по небу, в оврагах клубятся пары...» Хорошо, что я диктантами зрение себе не испортил! Не ума-разума набираться отдали, а чтобы хлебца кусочек, да ложечку песку получить. Детям тогда в школе давали. Только я есть один не могу, со всеми делился. Бабушка чья-то с клюкой мне говорила: «Ты, наверное, не от мира сего. Жить-то тебе трудно будет». Ну уж нет, бабушка. Я оптимист. Наши все оптимисты. Никто не знает, где человеческая судьба решается, никто!

Во-первых: радость такая, что отца не убили, чуть-чуть не убили, искалечили. Он потом директором стал в детском доме, где мы с Веней припеваючи жили.

Во-вторых: я всегда рисовал лучше всех, как Брейгель, и вокруг в восхищении толпы стояли. Аплодировали, многие плакали даже. И, почестно, я сам всегда плакал.

В-третьих: у меня такие находки, коллекции! Я как фанат собирал что-то всю жизнь. Страсть такая была. Старинные гвозди, конфетные фантики, самовары, крестики, монеты, заячью капусту для госпиталя... А потом раздавал все. Только старинные кованые гвозди выпрямлял и прятал. Над гвоздями, как Кощей, трясся. А не надо было трястись. Ход бы свой художественный найти нужно. Я такие гвозди у художника Краснопевцева на картинах видел, сорок лет спустя. Он такими гвоздями репутацию большого художника закрепил. Вся Москва его боготворила. А мне почему-то гвозди рисовать неинтересно. Я люблю, чтобы живое все. Краснопевцеву живое, видно, не под силу или неинтересно. Я прямо уверен, что на картинах гвозди у него мои. С моих гвоздей слава его пошла. Приезжал он ко мне на Волгу позже с художником одним. Миловидный, руки в перстнях, волосы волнистые, фасонистый. Переодетая женщина, почестно. Его раз и приняли за шпионку, когда он у воинской части рисовал. Сам мне рассказывал. Изнеженный такой человек, а с регистром речным Серафимом Раевским в очереди за пивом подрался! Что за фрукт? Так я его и не раскусил. Вставал часов в пять и по берегу камешки собирал, два или три черепа в Москву в рюкзаке увез. «Моменто мори»¹ собирался писать. Старое кладбище у нас на берегу размыло. А гвозди эти четырехгранные гробовые, а может, от старых барж, я ему подарил. Они у него везде на картинах.

Да, я от детства отвлекся, ей-богу, жил как в раю. По деревьям лучше всех лазил, коллекцию птичьих яиц собирал.

Коростель-дергач на лугу крикает, у него яйцо пестренькое такое. На коростелей даже Иван Тургенев охотился в дубовых кустах. Сокол-пустельга, яйцо красное, как пасхальное. У дрозда гнездышко из глины, как горшочек. А яйца зеленоватые с рыжинкой. Было у меня яйцо цапли, большое, голубое. У деревни Песье я его нашел. Там в бору постоянно цапли живут. Цапли встречаются повсюду, колониями, только подобраться к ним трудно. Очень высоко, а под гнездом скользко, грязно и рыбой пахнет. Запросто глаз могут выключнуть, пока лезешь. Почестно, и не яйцо у меня было, а так, фрагмент скорлупы. Зеленоватые с крапинками – грачиные, целыми шапками я их варил. Голубоватые – скворца, у совы – круглые, белые. А сорочье яйцо точь-в-точь как грачиное. Много я гнезд разорил. И видно, бог меня наказал, хоть я в него и не верю, конечно. На гнездо пустельги я тогда лазил. Интересная пустельга птичка: носится со свистом, крылышками трепещет, смотрит, где мышь пробежит, стрекоза пролетит... Все в гнездо тащит. На сосну высокую, обледенелую, я влез, олух. Стал спускаться и заскользил, как Галилео Галилей. Ускорение свободного падения. Несколько секунд адского страха, метров с десяти, бац! Как земля подо мной раскололась, душа от тела оторвалась. Все внутри у меня полгода болело, чуть не зачах, но отцу ничего не сказал. С героев пример брали. Он все спрашивал: «Что с тобой, Сивка? Ниже травы, тише воды стал, по деревьям не лазишь». По уму меня самого за яйцо можно считать.

¹ Моменто мори (искаж. лат.) – помни о смерти.

Страной своей мы гордились, оптимизм повсюду царил. Человечество все с надеждой на нас взирало. Все тогда мечтали летчиками стать. Так сейчас родителей не любят, как народ летчиков любил. На руках их носили. Как солнце они в избы входили, деревенские дети за ними гурьбой...

Сам я летчиков в детстве не встретил ни одного. Слонов и дельфинов не видел. Это ведь редкость. В соседней деревне, говорили, знаменитый летчик родился. Я сам думал, летчиком стану, полечу над детдомом, как сокол, крыльями серебряными помашу. Девушки по радио в войну на два голоса пели:

Улетел мой дружок высоко,
Улетел мой дружок далеко,
Скрылась в небе точка самолета
Буду ждать я летчика из полета.

Одного Сталина шибче летчиков любили. Естественно, его весь прогрессивный мир обожал. Я и сейчас о нем тоскую. Он всегда с трубкой, всегда со Светланой, всегда улыбается. Дети жаловались в письмах, если кто обижал. Он, как отец, заступался.

Лично меня никто не обижал, а драли за дело. Раз чуть не убили за заячий воротник. Но я не обижаюсь, конечно. Если ребенок без царя в голове, как я, всыпать полезно. Заячий воротник – это самый шик, из русака-зайца, а я в него из ружья, ба-бах, картечью. В ключья обновку к школе разнес! Чуть отца не убил! Картечь ведь не на зайцев, на волков крупная дробь.

Может, все подростки такие бесчувственные, не я один. Под старость осознание приходит. Про гормоны и гены в то время не ведали. В голову, говорили, что-то шибает. Много я отцовской крови попил, жалко теперь. С Колей, дядиколиным сыном, на пару. В детский дом к себе его взял. Раненый отец, бедняжка, нервный, диверсантов боялся, поджогов. А в него будто дух педагога Макаренко вселился. Каждого паренька приметит, кому украинскую песню поет, кому зверей лепит из глины, кого стрелять учит, а бенгальские огни на праздник всем показывает.

Только сынок за войну от рук отбился: варенье у соседки Сони крадет, вор, каких мало, вдобавок взят с полочным – в бутылку с чернилами писал, отец чуть в обморок не упал. Притча во языцех, а не директорский сын. Здорово я авторитет отцу подрывал. С Колей мы, водой не разольешь, против отца спелись.

Называли друг друга «милейший». Огороды в округе все с «милейшим» обчистим бывало. Детство, почестно, голодненькое. Да не то слово, хлеба досыта несколько лет не ели. Редька, турнепс, горох – все в пищу шло. Развернулись мы с «милейшим» так, что гуся чужого зажарили на костре! Покуролесили с Колей, как Герцен и Огарев на Воробьевых горах, но в жизни дальнейшей не пересекались. Эх, Коля, сердечный друг! Как я о нем скучаю. Он сразу в гору пошел. За ним не угонишься. Дядя Коля гордился, что сын генерал, пусть пограничник, не летчик, зато на золотую медаль учебные заведения окончил! Разве я такой! Разгильдяй, по необходимости учусь, после порки.

Ох и драл отец за воровство! Как узнает, со всех ног бежит, показать, где раки зимуют. Куда там! Прыгнем в лодку с «милейшим», ищи-свищи на дальнем берегу. Если поймает, держись! Полетят клочки по закоулочкам! Уши зажмет между ног, как поросенок визжу: «Пусти, пусти! Все Сталину скажу!» Ей богу, сразу жажда знаний приходит, любознательность, учусь на «отлично». Память у меня прекрасная была. И отец, и дядя Коля это отмечали. Но родные разочаровались вконец, что выйдет из меня педагог. Ни с чем пирожок!

«Сбегут зверьки, поджав хвосты, из старых нор своих, реку перешагнут мосты...» Как в «Мурзилке» писали, так и вышло. Индустриальный вал накатил, как у Айвазовского «Девятый

вал», который всех губит. Ничего вокруг не пожалел, не помиловал. Старинные города под воду ушли, на дне леса-призраки. Вот она где, Атлантида!

Браз тогда возникли острова на реке, сотни лесистых, песчаных островов возникли. На островах птицам – рай. Безлюдный, птичий остров один нашим считался. Большой, километра полтора, он даже на лоцманские карты нанесен. Канюки-ястреба целый день высоко над ним кружились. С одной стороны лес, а с другой на косе большая хорошая трава. Мы там всегда сено косили. Такие с острова открывались дали! Может, только поэт Некрасов такое на Волге видал, как я. А теперь никто не увидит. Золотые чистейшие пески, горячие такие, ноги можно обжечь. Сутуленькие, носатенькие кулички крестики лапками на песке ставят. Детство-то какое счастливое! Все прошло под голос кукушки. Кулички, кузнечики, кукушки – главных три кита, на них все воспоминания держатся. В кустах перепела, куропатки... живое все.

А теперь дичи и зверей нет. «Утро в сосновом лесу» не напишешь! Сталин после войны один за всем уследить не мог. Страна-то большая! Кипучий сверхчеловек, но доверчивый. Не все, как Тургенев или дяди мои, по охотничьему катехизису жили. Полупьяные нелепые мужики с дворняжками поголовно себя охотниками называли. Сталин, наверное, зубами скрипел, что всю землю изгадили. И еще грех большой на совести профессора Мантейфеля. Зачем-то завез в Россию енотовидную собаку! Черт его знает, профессор, и так промахнулся! Хищников достаточно, а тут еще еноты. Боровую дичь всю они переели. Что за жизнь без глухарей, без рябчиков! Профессора все охотники осуждали.

Целыми летами я в шалаше из осины на острове жил. Ни о чем не думал, никаких книг не читал. Кто же летом читает? Может, профессор Мантейфель? У меня и была в детстве одна книга Виталия Бианки. Днем и ночью на острове один и не боялся ни капли. Колокольчики, лютики, дрема – золотые мгновения я здесь пережил. А траву чуть не над вечным покоем косил, погостов, церквей сотни три затопили.

Из-за острова на стрежень дни, как проплывающие баржи, текли, в час три километра. Дымы, гудки... Большие черные трубы. Баржи колесные, как гигантскими ладонями шлепают по воде: чух! чух! чух! На рассвете появляются, плоты тащат на длинных тросах, и к вечеру еще на горизонте. Шкипера на гармошках играют, на каждой барже гармонь. И прямо изба стоит с русской печью, курами, поросята бывали... Подлещики и плотва пудами сушились. А имена-то какие у барж! «Петр Кривонос», «Макар Мазай», «Дуся Виноградова...» Как песня! Если рай есть, то он именно такой, как наш остров на Волге. Там всегда, когда солнце садилось, сверкающий малиновый столб, как палец, кому-то грозил. Под малиновым облаком столько вечерней печали...

Перед дождем листики осиновые на шалаше трепещут. Больше всех деревьев я осину люблю. Грозы вдалеке погромыхивают. Перед грозой на лодке отец приезжал: «Как ты тут?» Волновался. Мы купались с ним голые, как дети природы. Будущее виделось туманным и бесконечным, как небо над Волгой.

С детства я ходил с берданкой, порох бездымный весь покрал у отца, но охотником не стал. Такое умонастроение овладело, как у толстовцев – жалко живое убивать. Ни зайцев мне не надо, ни бекасов, ничего! Скотину я всякую жалею, воробьев лет тридцать кормлю, песиков волжских, котов...

Сколько я зимой конских туш топором искрошил, не счесть! Где-то по знакомству отец павших лошадей доставал. Для гончих. Все на Руси по знакомству, даже мертвые туши. Метров за триста их от дома бросали. Мы совместно над ними трудились: утром я да птицы, сороки, вороны, а при свете луны пир на весь мир шел: лисы, волки, еноты профессора Мантейфеля. Иже с нами, все, кто с зубами. Мышки полевые приходили, они едят мясо, но не любят. А толстовцы любят мясо, но не едят. Они даже водку хлебом закусывают. И я не любил мясо, туши на морозе крушить силенок у меня маловато. Лошадиные ребра несокрушимые и леген-

дарные. Пусть бы собаки сами рвали от туши куски и возвращались на выстрел отцовский. У охотников все собаки так приучены.

Я любил страшно, когда пристрелка ружей начиналась. Не я один, спокон века мальцы все к оружию тянулись. От дымного пороха звук раскатистый, как гром, но пыхает сажей, как Змей-Горыныч. Бездымный порох более прогрессивный, конечно, главное ружья после него чистить шомполом не нужно. А выстрел сухой, как пистолетный. Бездымный порох, как соль, в пачки фасуют, а на пачках сцены охотничьи изображены: сеттеры, лайки, ушастые зайцы, как же красиво! И порох, и ружья, и чего прогрессивного ни коснись, – все китайцы изобрели, великая нация.

Ружья у отца замечательные, такая пригонка частей ювелирная, если в замке травинка – все, не закроется! Бог знает откуда он Мацка ружье достал. Штук тридцать на всю Россию их, говорят, осталось, инкрустировано серебром. А Лазарини ружье или Моргенрота – дамасская сталь, все сверкало! Лепаж, да и Зауэр почти ни за что не считались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.